

Поэзия для меня — это способ услышать или сказать невыразимое — то, что либо совершенно невозможно выразить прозаическим способом, либо можно слишком многословно, отчего послание становится неинтерес-

ным. Поэзия для меня наслаждение, особенно ритмически организованная и рифмованная. Она чистит и лечит душу, позволяет мне видеть мир ярче, шире и глубже и дает себя почувствовать более живой.

Лана Степанова

Колодец

В крапиве и кустах чертополоха
таится от чужих трухлявый сруб.

На глубину колодезного вздоха
дам опуститься ржавому ведру
и подниму его с водой живою,
в которой навсегда растворены
гудение шмелей в зените зноя,
седая ясность зимней тишины,
шумливая пора яблокопада
(когда ранет и пепинки стучат) —
все то, чему была когда-то рада,
чем был богат старинный дедов сад.

Нет ковшика и кружки, только руки.
Горсть зачерпну и, погода чуток,
я сделаю тягучий, как разлука,
студеный, зубы ломящий глоток.

Сорвется в воду, в глубину квадрата
вопрос о том, вернусь ли я сюда
из круговерти жизни хоть когда-то.

Надеюсь, эхо отзовется: «Да».

Мудры и глубоки в колодцах воды,
но вряд ли мой оракул изречет,
куда уходят эры и народы
и светел ли за этим светом — тот...

Подорожник

Я прошу, не учите меня
танцам ветра, воды и огня,
дуновению, искрам и ливням.
На развилке путей, на краю
подорожником пыльным стою
и корнями вгрызаюсь в суглинок.

Ширь небес беспредельно ясна.
Подо мною земля-новина,
а вокруг — беспокойная воля,
где летают, стрекочут, звенят,
суетятся, не зная меня.
В круговерти житья до того ли?

Но когда во всю ярость и мощь
долгожданный обрушится дождь
и распляшутся молнии пылко,
задрожит подорожник-трава,
ощутив, наконец, что жива —
каждым листиком, каждой прожилкой.

Прежние места

Стареет сад — спокойно, незлобиво,
весь в затрапезе сняти и крапивы,
и кажется, что яблоки стучат
печальнее, чем тридцать лет назад.
В нем спят... нет: медитируют деревья,
под августовским солнцем спины грея.

Уходит мир — мой личный, персональный:
в фантомную реальность, царство навье,
а время драгоценные места
стирает, как полутона с холста.
Дуб спилен, пруд зарос, а дом заброшен.
Зачем пришла сюда жалеть о прошлом?

Хотя опять дожди грибные льются,
пестрит от георгинов и настурций,
сады не устают плодоносить
и август увядающе красив,
мне кажется, что все за грань стремится,
везде печаль, и я — ее частица.

На окраине

Город клубится трамвайными кольцами,
Вьется, змеится дорог бечевою,
башнями высится, шпилями колетса.
Может, возьмем и сбежим от него?

Номер седьмой довезет до окраины,
штангой искря над трамвайной спиной.
Воздух, бензином почти не отравленный,
не по-столичному пахнет весной.

Булку покрошим мы уткам прожорливым,
на синтепон облаков поглядим.
Пруд-лягушатник не Лаго-Маджоре, но
очень высокое небо над ним.

Банки с бутылками в джунглях осоковых,
тина, на отмели бурая взвесь...
Быть здесь не может чего-то особого.
Вроде не может, а все-таки — есть.

В месте, где вместе росли и выросли мы,
нам помогали кирпичики стен.
До уголка-закоулка последнего
все здесь родное до мозга костей.

Здесь, где дома и домишки изношены,
где будяком заросли пустыри,
непостижимо легко произносится
то, что бессловно горело внутри.

Вокзальный

На свете домовых полно, а нас, вокзальных, мало.
Живу сравнительно давно я в здании вокзала.
Везут кого-то поезда, уборщик щеткой возит.
Везде возня — туда-сюда... а я слоняюсь возле.

«Вазисубани» и коньяк — весь выбор возлияний.
«Эх, дорожает жизнь, земляк...» — вздохнет в буфете пьяный.
Взял вор бумажник из пальто — и вора повязали.
Немудрено: еще не то бывает на вокзале.

Я, в общем, человекофоб, мне жить нельзя иначе.
Но если вижу, что взახлеб малыш пропавший плачет,
Его я к взрослым отведу, а сам дымком развеюсь.
Толпа людей плывет без дум... так сельдь идет на нерест.

Вопит вокзальный микрофон: «К перрону поезд подан!»
Хотя неврозов я лишен, но беспокойства полон.
Вот мне бы в этот поезд сесть! Эх, не везет фатально:
Я должен оставаться здесь — невыездным, вокзальным...

Письмо в бутылке

На побережье, в зарослях осоки
я странное послание нашла.
Блеснула из травы округлым боком
бутылка темно-желтого стекла.

Внутри бумага. Пляшущие строки.
Похоже, что написано всерьез:
«Мне очень плохо. Где ты, друг далекий?
Откликнись, помоги! Я гибну, SOS!

Мой континент на части раскололся,
не выдержав разлома бытия.
Затерян в мире одинокий остров,
как в бурном море. Этот остров — я.

Ветра штормят. Куда ни глянешь — север.
Свирепствует Борей, суров и стар.
На серый волнорез вороны сели
и каркают: “Кош-марр! Кош-мар! Кош-маррр!”

Ни катерок, ни ялик не причалит.
Волна стучит по каменной груди.
На широте и долготе печали
я нахожусь. Найди меня, найди!»

Но где? Мне оказалось мало все же
оставленных в письме координат.
Внимательно смотрю в глаза прохожим —
Как знать: быть может, это он, она?..

ОБРАТНЫЙ ХОД

Когда-нибудь наступит час такой,
что море станет пенистой рекой
и побежит, журча, искать исток,
чтоб родничок зарыться в землю смог.

А яблоки, усеявшие сад,
на ветки яблонь медленно взлетят,
и будет воздух от цветенья прян,
ростки забьются в кожицу семян.

Закат переместится на восток,
придет за Водолеем Козерог,
а люди, проживая день за сто,
вернутся в предзачатное ничто.

Вертя в руках бесформенный комок,
раздумает лепить Адама Бог
и бросит глину в пышный травостой,
тем самым завершая день шестой.

И не напишут Книгу Бытия —
безлюдны будут новые края,
где видов рыб, зверей и птиц не счесть,
а убивают — только чтобы съесть.

В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ

В кукольном театре Карабаса,
между балаганом и искусством,
где нетрудно лиха нахлебаться,
разлеглись по пыльным полкам куклы.

Свет луны струит свои флюиды,
сон закрыл моим подругам веки.
Где-то между небом и Аидом
наш театр на ниточке подвешен.

Длинный, с потолочной балкой вровень,
ковыляет страж птицеголовый.
Убежать? Не пустит без пароля.
Подобрать бы слово, слово, слово.

В этом мире троп и чувств окольных
места нет наивным и домашним.
Господи, мне больно, больно, больно.
Боже, мне так страшно, страшно, страшно!

Завтра утром снова за работу
глупой бибабо, тряпичной деве,
и в мое нутро запустит кто-то
ласковые пальцы лицедея.

Пеппилотта выросла

Пеппилотта выросла. Ну, почти.
Округлилась грудь и кипят гормоны.
То мечтает город и мир спасти,
то устроить путч и Содом с Гоморрой.

Из-под рваной челки не виден взгляд,
брови-крылья тоже играют в прятки.
Пеппилотта в черном, как ночь и ад,
но в кислотно-розовой «арафатке».

На Фейсбуке статус: «Любовь и смерть...»
Роза в каплях крови — ее эмблема.
С края крыши смерти в глаза смотреть
полюбила вдруг Пеппилотта-эмо.

Томми любит Хельгу. Какой подлец!
Куклу Барби выбрал. Свихнулся, что ли?
«Самой сильной девочке на Земле»
не под силу справиться с этой болью.

Переходный возраст — цепочка дней
до предела нервных, ходьба по грани.
А пройти сквозь юность куда трудней,
чем ползком подняться на пик Монблана.

...Ночью вилла «Курица», как фрегат,
чуть дрожа, скрипя листовым железом,
от людских докучных арлекинад
держит путь к оранжевой Бетельгейзе.

Ей мигают Лебедь, Дракон, Центавр.
Проплывает вилла в потоке звездном.
И волной стучит о ее борта
мир прекрасный. Радостный. Безнадежный.